

ОДНА БЕСКОНЕЧНАЯ НОЧЬ НА РУКОДЕЛЬЕ

А задумаешься и понимаешь: как же сложно написать замечательное стихотворение о войне.

Чтоб по-настоящему тронуло за душу, но сентиментальным при том оно не было. И не давило на слёзные железы, подглядывая одним холодным глазком: заплакал читатель или ещё добавить луковой горечи и соли?

Чтоб было сделано безупречно, но чтоб та безупречность не красовалась пред тобой каждой изящной рифмой, осмысленным, актёрским, сбоем дыхания и ритма.

Чтоб за теми строчками слышалась вся предшествующая великая поэтическая военная традиция. Но при том чтоб вслух произнесённые эти стихи не выглядели на фоне Державина, Пушкина и Ахматовой как ребёнок на табуретке, читающий Деду Морозу.

И вместе с тем, чтоб верность традиции не делала эти стихи старообразными и потерявшимися во времени, как черновики Надсона.

В конце концов, стихотворение о войне — это не просто нечто ловко срифмованное. Чтоб подобные стихи писать — надо, знаете, совесть иметь.

Надо понимать, о ком, кому ты пишешь.

Надо в лицо этих людей знать, глаза их помнить.

Стихи о войне не имеют права быть написанными плохо, ссылаясь на то, что они «от чистого сердца». Если сердце твоё чисто — ну, скажи своими словами, прозой, не терзай язык. На нём до тебя такие люди

писали стихи, в присутствии которых надо по стойке смирно стоять.

Видите, сколько всего нужно соблюсти, сколько всего нужно суметь, чтоб сложить всего-то 8, 12, 16 строк?

Это рукоделье, которому надо долго учиться.

Уча и сознание своё, и душу одновременно.

И здесь, в книге Наталии Тебелевой, соблюдено всё вышесказанное и даже больше.

Здесь достигнута та прозрачность и точность, до которой иным расти-не вырасти.

Такая чистая влага случается — на самой глубине. Такой чистый воздух — на самой высоте.

Растрогать нас непросто, но стихи Наталии Тебелевой — тот самый случай, когда через раз хочется заплакать.

Она сентиментальна? Не больше, чем песня «Синенький скромный платочек».

Должно быть, у неё так получается оттого, что перед нами поэт с большим сердцем?

Быть может, хотя, вы уж не сердитесь, в поэзии это всё не так важно.

Важно, что Тебелева — поэт безупречной хватки. Поэт с отличным глазомером. Строгий к себе поэт.

Она — умеет.

Она умеет так, что и шва не заметишь.

И это уменье — в самом высоком смысле посконно: оно сродни тому бабьему древнему дару, когда мужик с утра вставал, а глаз не смыкавшая хозяйка обшивала его (или их сына) — на бой (на свадьбу, на дальний

путь). И попевала так, словно не одна швея сидела при свете лучины, а сразу дюжина.

Тебелева снаряжает русского человека, русского мужика в самую трудную дорогу.

Снаряжает не просто словом: благословением и оберегом заплетённым, вшитым в золотые слова.

Когда я читаю стихи Тебелевой, иногда грущу: а жаль, что не было среди летописцев — русских женщин. Монахинь ли, княжон, ещё кого — неважно.

Быть может, мы расслышали бы в той дали ещё какие-то интонации, разглядели какие-то ещё краски.

Когда Тебелева пишет про Дебальцево, про Торецк, обращающийся в Дзержинск, про Купянск — я слышу древние и новые летописи, слившиеся воедино.

Я слышу женский голос такой силы, такого объёма, что он обращается в лазурь, в тёплый свет, в самую историю.

И ветры горький запах разносили.

И наполнялась духом вся страна.

И люди имя приняли — Россия,

В свои не помещаясь имена.

Захар Прилепин

Уже стемнело, стелется по городу
распаренный обманчивый покой.
В твою, такую ласковую, бороду
губами погружаюсь и щекой.

Ветра по-над листвою заверховодили.
Ты говоришь мне, что пора пришла,
чтоб защитить не только нашу Родину,
что началась война Добра и Зла.

По небу тучи, как шальные, мечутся,
вот-вот прольются — верно верней.
Ты говоришь, теперь у человечества
надежда на тебя да на парней.

Луна мигает сломанным светильником.
Встаёт заря и вся Святая Русь.
Не бойся, — говоришь, — вернусь
как миленький.
Да, миленький, я верю. Не боюсь.

Здесь люди. Здесь, Господи, русские люди.
Три бабки. Вдова — разродилась уже —
у печки, иначе ребёнок застудит.
Да дед со щенком на втором этаже —

сто раз говорили: в подвале спокойней,
а вместе, наверное, даже теплей.
Но нет же: видней со своей колокольни.
Хотя в одиночку поди уцелей.

Соловушки скоро затрепят под Курском.
Как жалко беседку — спалили дотла.
Здесь люди. Здесь люди. Здесь люди.
Зажмурься.
Недавно живые. Сегодня — тела.

А наши теперь наступают. Не плакать.
Мы давим фашистских взбесившихся гнид.
Есть книга. Она называется память.
Она не ветшает. Она не горит.

И сколько бы русским Господь ни отмерил
в той книге абзацев, в неё он занёс
и бывший подъезд, и пробитые двери,
и надпись мелками: «Здесь люди и пёс».

Да он хотел-то, собственно, того же:
на вайбе в клуб, а после десяти
идти с девчонкой, на твою похожей,
и ровно те же глупости нести.

И чтобы забурлил бульвар осенний
и не кончался, сколько ни ходи.
А впереди суббота с воскресеньем.
И жизнь большая тоже впереди.

И в мыслях не бывало чернозёма,
покрытого неровным слоем тел.
Обугленных руин до окоёма
он не хотел. Смертельно не хотел

детей и стариков искать в подвалах,
ничком валиться в хляби октября.
Чтоб матушка Россия устояла.
Чтоб защитить какого-то тебя.

Здесь точка. Без морали неподъёмной.
Душа — потёмки, завтра — чистый лист.
Но вспомни. Поутру однажды вспомни.
И за него, как можешь, помолись.

Тьма предельно сгустилась и вышла из тени.
На такую управу попробуй найди.
Темы нет ни одной для молчания с теми,
у кого безболезненно бьётся в груди.

Между «быть» и «не быть»
никаких промежутков:
знать — не знаешь, но чувствуешь
всем существом.

И поют километры подсолнухов жухлых,
и сплетаются трещины на лобовом.

В этой оптике — жизнь. Чем южнее, тем чётче.
Зеленее на встрече. Понятней слова.
А двойная сплошная — уверенный росчерк,
след на небе, где крылья заметны едва.

И всё чаще мелькают в окне лесополки —
лесополосы временно перевелись.
Супостата сбивает с дороги и с толку
разливанная Русь, чернозёмная высь.

Просто общий язык. Просто общая память.
Просто больно, и нужно управу найти.
Тьма уже начинает по краешку таять.
Дальний свет. М4. Две трети пути.

Нас новый век раскачивал и гнул,
а вот сломить получится едва ли.
Нам нужно довоёвывать войну,
что наши деды недоевали.

Она была возможна лишь в кино,
погребена под корешками книжек,
в другое время, в плоскости иной.
Но оказалась явственней и ближе,

сложней и проще, больше и страшней,
иглой кровавой свастику наметив
и волчий крюк на сгорбленной спине
безумного соседа по планете,

а память, словно памятник, поправ.
И стынет, стонет небо изумлённо:
«над Бабьим Яром шелест диких трав
и чёрные фашистские знамёна».

Живём, покуда чувствуем родство
с мальчонкой, там невинно убиенным,
расстрелянным за то, что у него
неправильная кровь текла по венам.

Что делать. Кто бы ни был виноват,
а победить должны мы по-любому —
пройдя дорогой выцветших солдат
из дедова военного альбома.